

А. БЕК***На другой день****

<Фрагмент>

1

Произведя всякие розыски для этой книги, собирая разные свидетельства, то изустные, то счастливо найденные в давних бумагах, погружаясь в нее мыслью, перебирая в уме будущие главы, я порою испытывал сомнение: хватит ли сил поднять или, по нынешнему выражению, потянуть дело, которое сам на себя взвалил. Однако поддерживаю решимость достойными примерами.

Вот Горький. Высоченный, сутулый, худой — сквозь темную ткань пиджака заметны выступы лопаток, шея просечена извилами крупных морщин, — он шагает по настилу сцены к кафедре в зале Московского комитета партии. Это торжественный вечер в честь пятидесятилетия Ленина. Ряды сплошь заняты. Сидят даже на краю помоста, предназначенного для президиума и ораторов. С виду Горький угрюм, бритая, с шишкообразными неровностями голова наклонена, впалые глаза затенены насупленными кустистыми бровями. В зале тихо; Горький, ухватившись обеими руками за ободки кафедры, молчит. Лишь двинулись, проступили желваки. Потом шевельнулись обвислые моржовые его усы, окрашенные над губой многолетним, дегтярного тона осадком никотина. Усы шевелятся, будто он уже начал говорить, но голосовые связки, как можно понять, стиснуты спазмом волнения.

Горький прокашлялся. И приподнял голову. Стали видны большие на удивление его ноздри. Проглянула и синева глаз. Все еще хмурясь, он неловко подвигал костлявыми плечами и развел

* Александр Альфредович Бек (1903–1972) — русский советский писатель. Писал очерки и рецензии для газет «Комсомольская правда», «Известия». С 1931 г. сотрудничал в редакциях «История фабрик и заводов» и «Люди двух пятилеток», в созданном по инициативе М. Горького «Кабинете мемуаров». Самая известная повесть Бека «Волоколамское шоссе» (1942–1943).

** Роман Бека «На другой день» не мог быть напечатан при жизни автора. Наперекор цензуре и общественному застою писатель ещё в 60-е годы прошлого столетия взялся за объективное исследование сталинского феномена. Изучив огромное количество архивных материалов, проведя сотни бесед с вышедшими из лагерей ГУЛАГа участниками и свидетелями революционных событий, Бек создал проблемный роман о власти и харизме вождя.

длинные руки. Это был откровенный жест беспомощности. Хрипловатым басом, окая, он произнес первую фразу:

— Товарищи, есть люди, значение которых как-то не объемлется человеческим словом.

Досадливо крикнул. Возможно, его требовательное ухо литератора — крупное, грубовато вылепленное — отметило нескладность оборота «человеческим словом»: каким же, в самом деле, оно может быть иным? Впрочем, до стилистики ли Горькому сейчас? Года полтора назад, в сентябре 1918-го, он пришел к Ленину, который был тогда чуть ли не смертельно ранен двумя пулями, что почти в упор террористка всадила ему в шею и в грудь, пришел после длительных несогласий с Лениным и с того дня заново определил свое место во все ожесточавшейся борьбе, напрямую вопрошавшей «на чьей ты стороне?», решил: если стреляют в революцию, то я с ней, в ее рядах! Однако на большом политическом собрании Горький со времен Октябрьского переворота, кажется, лишь впервые выступал.

— Русская история, — глухо громыхал его бас, — к сожалению, бедна такими людьми. Западная Европа знает их. Вот Христофор Колумб...

Приостановившись, Горький опять крикнул, махнул рукой — было видно, что он не находит выражений, недоволен, что его занесло к Колумбу, и, не развивая такого сравнения, явно скомкав мысль, заговорил, забухал дальше:

— Мы можем назвать в Западной Европе целый ряд таких людей...

Первая минута истекла, глуховатый, но уже без хрипоты голос стал внятней:

— Людей, которые будто играли как-то, Горький опять недоумевающе повертел плечами, будто говоря: «Тут черт ногу ломает», играли каким-то рычагом, поворачивая историю в свою сторону.

И живым неожиданным жестом как бы крутнул перед собой невидимый глобус. И улыбнулся. Брови вскинулись, совсем ясно проступили синие, с какой-то озорнинкой глаза.

Пожалуй, эта улыбка, явственно выражавшая влюбленность в того, о ком шла речь, имела и еще некий оттенок. В ней точно читалось: «Знаю, товарищи, что рассуждаю не марксистски, но ведь вам известно, что я плохой марксист, уж не взыщите».

Снова прихмурясь, Горький продолжал:

— У нас в истории был, — тут он щелкнул пальцами, словно ища и не находя верного слова, щелкнул и поправил себя: Нет, я сказал бы, почти был: Петр Великий таким человеком для России.

Выдержал паузу, подумал и, подняв указательный палец, произнес:

— Вот таким человеком — только не для России, а для всего мира, для всей нашей планеты — является Владимир Ильич.

Далее Горький опять затруднился, опять вертел о воздухе пальцами, не то лоя, не то вылепливая на глазах у всех какую-то нужную фразу. И тут же признался:

— Нет, не найду, хотя и считаюсь художником, не найду слов, которые достаточно ярко очертили бы... Вновь он водил руками, поднимая их выше головы, как бы не в силах нечто схватить, объять. — Такую коренастую... Такую сильную... Такую огромную фигуру...

Опять слово ему не повиновалось. Он не сдержал слезу, потерявшуюся в крупной морщине, словно прокопанной от скулы к подбородку. И не стеснялся умиленности — той умиленности, какую в искусстве не потерпел бы: она под пером сладка.

А затем, месяц или два спустя, Горький попытался нарисовать Ленина штрихами писательского своего пера. Тот ранний вариант литературного портрета заканчивался такими строками: «Я снова пою славу священному безумству храбрых. Из них же Владимир Ленин — первый и самый безумный».

Это маленькое изящное произведение вызвало резкий отклик Ленина. Впрочем, гнев его был направлен не столько против автора — возобновив прежнюю дружбу, Ленин, наверное, лишь рассмеялся бы, сыронизировал бы насчет «самого безумного», сколько по адресу журнала «Коммунистический Интернационал», напечатавшего заметки Горького о Ленине. Не вынося малейшей неряшливости в области теории, Ленин, как только прочел эти посвященные ему страницы, тотчас же стремительной, будто наклоненной в беге искосью, по обыкновению без помарок, выделяя подчеркиванием отдельные слова или даже части слов, написал проект постановления Политбюро о том, что в высказываниях Горького, помещенных в «Коммунистическом Интернационале», «не только нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического».

Однако, чтобы не впасть в грех упрощения и односторонности — быть может, самый опасный для задуманного нами труда. — дадим еще коротенькую справку. Это выдержка из письма Надежды Константиновны Крупской, посланного Горькому: «... Ильич в последний месяц жизни отыскал книгу, где Вы писали о нем, и велел мне вслух читать Вашу статью. Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал».

Так-то, друг-читатель. Не проста, не выведена прямыми линиями история, которую нам предстоит воспроизвести. Что же, к делу!

2

Вернемся в зал Московского комитета партии, — зал, что звался красным, ибо его стены были выкрашены темно-вишневым колером, — на заседание, посвященное пятидесятилетию Ленина.

Пусть эта зарубка, этот вечер 23 апреля 1920 года так и послужит началом нашей хроники.

Юбилей происходил без юбиляра, Владимир Ильич не захотел выслушивать поздравительных речей, отверг все уговоры, назвал затею никчемушной. Передавали, что, высмеивая назначенное чествование, он обратился к самому себе по Чехову: «Глубокоуважаемый шкаф!» — и сказал, что ни за какие коврижки его не заманят сыграть эту глупейшую, да и попросту непристойную роль.

Тем не менее на вечере разнесся и другого рода слух, исходивший не то от Надежды Константиновны — вон она, очень худая, с приметной родинкой справа на лбу, с непривычным для ее щек румянцем сидит в седьмом или восьмом ряду, — не то от светловолосого Бухарина, поворачивающего туда-сюда лысеющую голову, мальчишески непоседливого даже и тут, за столом президиума, слух, что все-таки в какой-то мере удалось уломать Ленина: он здесь появится, правда, лишь после того, как отговорят ораторы.

Докладчиком выступил Лев Борисович Каменев, тогдашний председатель Московского Совета или, как в шутку говорили, лорд-мэр Москвы. В этой шутке содержалось что-то меткое. Он, член Политбюро Российской Коммунистической партии, что вершила самую решительную в мировой истории революцию — революцию всех обездоленных против всех угнетателей, — впрямь являл в своем облике, в повадке некую напоминавшую о диккенсовской Англии респектабельность. Спокойные плавные жесты подошли бы представителю безукоризненно солидного, устойчивого дела. Осанку подчеркивал красивый постав головы, которую увенчивала русая, с отливом золота густая шевелюра, уже на висках с проседью. Линии столь же золотистых, с рыжей окаемкой, бородки и усов были мягки. Спокойно двигались белые породистые руки. Мягкость, природное добродушие сквозили и в выражении голубых, выпуклых в меру глаз, взиравших сквозь пенсене. Военного образца коричневая куртка, именованная френчем, на нем как-то не замечалась, обмявшимися складками свободно облегла кругловатые плечи, плотную, склонную, как говорится, к полноте, но отнюдь еще не располневшую фигуру. Каменев не обладал

даром сильной самостоятельной мысли, и, вероятно, поэтому он, несмотря на эрудицию, юмор, острый, быстро схватывающий ум, ораторскую и литературную талантливость, оставался все же несколько безличным, бесцветным. Вместе с тем он обладал редкой способностью резюмировать, подводить итог высказываниям, формулировать сложившееся мнение, не впадая в крайности, в пристрастия. И сплошь и рядом превосходно исполнял роль председателя или докладчика.

Ушли, казалось, в дымку времена, дни семнадцатого года, когда он — в апреле и затем в октябре — схватывался с Лениным, получая в ответ нещадно разящие удары. Мысль, воля, неприимимость Ильича сгибали Льва Борисовича. Со склоненной повинной головой он возвращался к Ленину. И теперь эпически спокойно, основательно, в духе своих лучших резюме произносил вступительный доклад к чествованию Ленина:

— Человек величайшего ума, величайшей воли, величайшего напряжения и величайшей прозорливости. Я не хочу употреблять здесь, в родной семье борцов коммунистов, слов слишком широко-вещательных и слишком больших, но если все это сжать в одно-два слова, то это слово было бы, конечно, гениальная способность Владимира Ильича.

Фразы несколько шаблонны, уже стерты в обиходе, но пробивается живая теплота:

— Человек, который неоднократно оставался один, человек, который неоднократно объявлялся сектантом, раскольником, который неоднократно видел, что он как будто оказывается в стороне от широкой исторической дороги. И вдруг выяснялось, что эта широкая историческая дорога пролетариата лежит там, где стоит Ленин.

Что-то личное, не свойственное стилю Каменева, еще заметней возникает в его речи:

— Я не знаю случая, чтобы Ленин задумался над расколом с самым близким своим другом, с самой могущественной организацией, если он был уверен, что они отступили от теории пролетарского социализма.

Перейдя к прежнему эпическому изложению, Каменев выделяет самые дорогие Ленину, заветнейшие мысли:

— Русский пролетариат принужден был ходом истории России поставить вопрос о власти и государстве. Первые образцы революционного решения вопроса о власти были даны Владимиром Ильичем.

Сейчас ни одной интонацией Лев Борисович не показывает, что в свое время и он отвергал эти идеи Ленина. Да, было и бы-

льем поросло. Зато потом он, ничуть не поступаясь солидностью, заново крестился, так сказать, в ленинской купели, стал как бы ревнителем ленинской теории государства.

— Когда Владимир Ильич сказал, что трудящиеся низы сами должны управлять государством, это было в истории человечества действительно новым словом, Ленин создал эту новую теорию, конечно, опираясь на гениальное предвидение Маркса, извлек его и разработал в целую систему, воплотил в ежедневную практику управления. Вот это абсолютное доверие, эта абсолютная уверенность, что каждый чернорабочий может взяться за государственное строительство, вот это и спасает наше дело.

3

Вслед за Каменевым говорил Горький.

Среди слушателей находился Алексей Платонович Кауров, прибывший с Юго-Западного фронта делегатом Девятого партийного съезда, задержавшийся в Москве из-за болезни — он на пути в столицу подхватил еще гулявшую по стране жестокую хворь, что звалась испанкой, ходил, температура, на съезд и был вдобавок наказан воспалением легких. Лишь вчера выпущенный врачами на волю, он пристроился тут вместе с другими, кому не досталось места в зале, прямо на половицах сцены близ добротной сработанной трибуны, которая — дитя революции — не блистала лаком, была промалевана немудрящей морилкой. В том же углу расположились и стенографистки, порой недовольно шикавшие на теснившихся и к их столику безместных сидельцев. Доставалось и Каурову, иногда ворочавшемуся или по живости натуры общавшемуся шепотком с соседями. Уловив идущее от столика «тс-с-с», он всякий раз картинно зажимал кулаком рот, потом просил извинения улыбкой, что выказывала чуть обозначившиеся ямочки на осунувшихся в дни болезни щеках, где, правда, уже пробивался свежий румянец, характерный для Каурова, словно добавлявший мазок наивности серьезным его чертам.

Ему здесь не привелось сбросить с плеч шинель — опоздав, он пренебрег раздевалкой, прошел напрямик, благо тут, в Московском комитете, как, впрочем, в те годы и повсюду, не было на сей счет строгостей. Примостившись на дощатом настиле, он снял изрядно мятую военную фуражку, обнажив небольшую лысинку, образовавшуюся на самой макушке розовый правильный кружок среди льняных тонких волос. Белесый короткий зачес странно сочетался с густо-черными, точно нанесенными углем, бровями.

Так перемешались, перепутались в нем черты отца, русского полковника, и грузинки матери.

Время от времени Кауров наскоро фиксировал в записной книжке некоторые, на его взгляд, чем-либо знаменательные, сказанные с трибуны слова. Сегодняшняя его карандашная скоропись, подчас едва разборчивая, где зачастую окончания слов отсутствовали, не залежится, пойдет в дело, будет прочтена вслух сотоварищам-политотдельцам; понадобится, наверное, и для его докладов на партсобраниях в частях армии, с которой он делил и невзгоды отступления и победный путь на берега Черного моря, — завтра-послезавтра он снова укатит туда.

Придется, должно быть, и во фронтовую газету дать отчет о вечере, что называется, по личным впечатлениям. Однако это-то для него, сотрудничавшего еще в дореволюционной «Правде», разлюбозное занятие: он охотно посидит над статьей за полночь, были бы бумага, карандаш и табак!

Как и притихшую аудиторию, Каурова растрогала несладкая горьковской речи, признание: слов не нахожу, не понимаю, совершенно нечто чудесное, необъяснимое совершенно Лениным, редчайшим в истории человеком, которому под силу чудеса.

Опять черкнув в записную книжку строку-другую, Алексей Платонович (или, коротко, Платоныч, как в товарищеском кругу прозвали его) посматривал на Горького.

Нечто чудесное... Да, возглавляемая большевиками революция отстояла, утвердила себя в вооруженной борьбе. Поле сражения в бывшей Российской империи — еще только в ней одной! — осталось за нами, за невиданным новым государством, новым обществом. Вот заполненные сплошь ряды. Гражданская война наложила свой отпечаток на одежду. Штатских пиджаков немного. Галстуков — один, два, и обчелся. Там и сям кожаные куртки. И суконные, с накладными карманами френчи. Несколько красных косынок, повязанных вокруг женских голов, единственные яркие вкрапления. Еще не минуло и трех лет с тех пор, как Ленин вынужден был скрываться в шалаше, а ныне...

Нечто объяснимое... Нет, не по его велению произошла Октябрьская революция. История была ею беременна. Ленин это угадал, постиг. Если не танцевать от такой печки, конечно, ничего не уяснишь... Платоныч не раз в таком духе излагал закономерность Октября в своих лекциях в армейской политшколе — он, нагруженный еще многими обязанностями, все-таки урывал время, чтобы вести там занятия.

...Место на трибуне уже занял Ольминский, давний последователь Владимира Ильича, один из старейших в этом зале. Нежно-

розовая, не тронутая морщинами кожа усугубляла молодость его лица, охваченного седой, без единого темного волоска, густой шевелюрой и вольно разросшейся столь же белой бородой.

Он, когда-то подписывавший свои статьи в большевистских газетах броским псевдонимом Галерка, теперь шутливой ноткой развевал торжественную серьезность собрания:

— Приглашение высказаться было, товарищи, для меня нечаянным, и первым чувством у меня был страх.

Шутка дошла — дошла, наверное, потому, что в ней содержалась и правда. Стенографистка условной закорючкой обозначила: смех. Вместе с другими засмеялся и Кауров.

А седовласый ветеран партии, участник множества политических драк, неизменно воевавший на стороне, как говорилось, твердокаменного большевизма, теперь, улыбаясь почти детской голубизны глазами, продолжал:

— У Владимира Ильича есть хорошие словечки. Например, хлюпкий интеллигент. Все мы, интеллигенты, действительно хлюпики, кроме товарища Ленина и некоторых других.

Каурову в тот миг подумалось: переборщил! Себя Платоныч к хлюпикам не причислял.

Тем временем оратор, отрекомендовавшийся — в шутку ли, всерьез ли? интеллигентом хлюпиком, проделал то, о чем позабыли и председатель, и докладчик, и все, кто уже выступил.

— Тут говорили, — произнес Ольминский, — что Ленин великий организатор. Я, товарищи, внесу добавление. Да, Ленин великий организатор с помощью Надежды Константиновны, своего самого...

Загремевшие отовсюду хлопки прервали речь. Все, не жалея ладоней, аплодировали. Слышались возгласы: «Надежду Константиновну в президиум!», «Надежда Константиновна, встаньте, покажитесь!» Но она, опустив голову — Кауров со сцены мог видеть ее темно-русые волосы, разделенные неглубокой бороздкой пробора, не очень приглаженные и сегодня, заметил и запылавшие, не совсем скрытые прической, ее уши, — она, опустив голову, по-прежнему сидела в седьмом или восьмом ряду. Поверх белой свежей блузки был, одет обыденный, что и на работе служил Крупской, темный, в полоску сарафан. На коленях лежали нервно сцепленные руки, давненько утратившие молодую плавность очертаний: уже пролегли выпуклости вен, угловато выдавались косточки у основания худощавых, не помилованных морщинками пальцев.

Наперекор шуму Ольминский пытался сказать что-то еще о жене Ленина:

— Самый близкий, самый верный ему человек...

Какие-то фразы пропадали в гуле. Выразительно взглянув на председателя, стенографистка держала над тетрадью замершее, бездействующее сейчас перо. Кауров все же улавливал:

— Исключительное свойство Ленина: готов остаться хоть один против всех во имя... Нет, он и тогда не один: с ним в самые-самые трудные минуты Надежда Константиновна...

Она так и не поднялась: переждала, пересидела овацию.

Платоныч вновь на нее поглядывал. Судьба в некотором роде обделила его. Ему уже тридцать два года, но женщины — друга он доселе не обрел. Бывали, конечно, увлечения, но любви, такой, в которой сплелись бы, сплелись два существа, ему знать не привелось. Кауров привык к этой своей доле, что в мыслях как-то связывалась с мытарствами революционера, с профессией, которой он себя отдал. Но понимал: у каждого это решается особо, не выищешь рецепта. И почти не задумывался о незадаче.

Выступил на вечере и Луначарский, один из одареннейших людей ушедшего в историю времени, которое является и временем действия нашей драмы или, что, быть может, пока более подойдет, репортажа в лицах.

Пленительная легкость речи, будто самопроизвольно льющейся, сочность, сочетавшаяся с афористичностью, редкая щедрость ассоциаций, экскурсов в далекое и близкое прошлое, меткость наблюдений, необыкновенный талант характеристики, способность несколькими живыми штрихами дать почти художественный словесный портрет — таков бывал на трибуне божьей милостью народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский.

Воевавшая революция посылала его, превосходнейшего агитатора, и на фронты. Памятью об этом явились кадры кинохроники, изображавшие Анатолия Васильевича в красноармейской гимнастерке и грубых военных сапогах близ бронепоезда. И все же вопреки всяческим превратностям тех стремительных годов Луначарский почти непостижимым способом сохранил давнюю холеность небольших усов и бородки, что на французский лад звалась «буланже». «Старый парижанин» — так иной раз под веселую руку он был не прочь рекомендовать себя.

На мясистом и вместе с тем тонко пролепленном носу прочно угнездились пенсне в роговой темной оправе — так сказать, чеховское, хоть и без шнура, но с предназначенным для него выступающим колечком. Эти черточки как бы олицетворяли интеллигентность; может быть, даже чуточку богемную, вольно-литераторскую.

Однако довольно писаний! Заглянем в записную книжку Алексея Платоновича, где он, если снова воспользоваться выражением позднейших времен, «взял на карандаш» и кое-что из посвященной Ленину речи Луначарского.

...Редко когда земля носила на себе такого идеалиста.

...Откуда этот неудержимый поток энергии? Почему эта суровая расправа с врагами? Только потому, что это нужно для реализации высоких идеалов.

...Непреклонность Ленина.

...Знать, чего хочет противник, проникнуть в тайники его души, прищуренным глазом рассмотреть, что он скрывает за своим словом, пронизательно его поймать — таков Ильич.

<...>